



КОКОШКО
Юлия Михайловна

Кокошко Ю. М. (год рождения 1953) — выпускница Уральского университета (1976) и Высших сценарных курсов (Москва, 1986). С 1980 по 1992 г. работала на Свердловской киностудии администратором кинохроники, ассистентом режиссера, сценаристом. С 1992 г. — лаборант филологического факультета УрГУ. Лауреат премии им. А. Белого (1997) за книгу рассказов «В садах».

ВОСКРЕСНЫЙ ЧЕТВЕРГ

Творчество екатеринбургского прозаика Юлии Кокошко давно уже пользуется безоговорочным уважением в писательских кругах. Ее литературные опыты не часто, но вполне систематически появляются в журнале «Урал»; еще более охотно их печатают журналы «новой волны» — «Лепта», «Несовременные записки», «Комментарии». А года два назад екатеринбургское издательство «Сфера» даже рискнуло выпустить их в свет отдельной книгой. Тираж ее, правда, был очень небольшой — всего лишь 500 экземпляров. Тем не менее авторский сборник «В садах...» был признан достаточным свидетельством состоявшейся литературной судьбы: прочитав его, Юлию Кокошко приняли в Союз российских писателей.

Более того, за этот же сборник писательница удостоена вызывающе бескорыстной, но весьма престижной всероссийской премии имени Андрея Белого. Как гласит решение жюри, «за хрупкое равновесие пишущего между молчанием, трудным словом и изобретательностью, позволяющее не разрушать работу сердца». По мнению тех же авторитетных ценителей, «мастерство Юлии Кокошко, трансформируясь от публикации к публикации, раскрывает новые грани ее таланта и выдвигает в число ведущих мастеров современной русской литературы».

Что касается читателей, то мало сказать, что имя Юлии Кокошко абсолютному их большинству практически неизвестно. Думаю, и самая энергичная рекламная «раскрутка» не помогла бы: просто эта проза не предназна-

чена для «массового потребления». Дело тут не в нарочитой усложненности, а в коренном свойстве таланта писательницы. Она иначе, чем большинство из нас, слышит и чувствует слово.

Возможно, вы обращали внимание на то, как много оттенков обнаруживает в «обыкновенном» белом цвете снега хороший живописец-пейзажист. Мне же доводилось еще быть свидетелем того, как одаренный экстраординарным слухом музыкант воспроизводил колокольный звон, ударяя по клавишам рояля: для него неразложимый (для моего уха) звук колокола — музыкальный аккорд из нескольких «простых» звуков.

В этих аналогиях не раскрывается тайна необычной манеры письма Юлии Кокошко, а лишь содержится намек, которым читатель может воспользоваться, обратившись к тексту предлагаемого здесь рассказа. Но если погружение в музыкально-смысловой поток этой необычной прозы с первого раза у вас не получится — отложите журнал не с раздражением, а с уважением: вы встретились с феноменом, понимание которого превышает возможности нашего повседневного читательского опыта. Возможно, со второй или третьей попытки у вас получится взять этот барьер. А не получится — ну что ж, остается утешиться тем, что, может, и вы в своей профессиональной области достигли горизонтов, недоступных другим.

*Валентин Лукьянин,
главный редактор журнала «Урал»*

Меня преследует навязчивый сюжет: кто-то ждет гостя, который не знает дороги в дом, где его ждут. А ждут из окна, и смотрят неотрывно в даль – не отрывая дом от дали, не скатывая пустую дорогу, которой гость не знает, а выспросить пустую дорогу он не догадывается, поскольку не знает, что его ждут. И пока его ждут, он живет. И забыл, что чем больше живет, тем меньше осталось. И у тех, ожидающих – тоже все меньше ожидания, потому что гость живет много. И из-за угла уже высматривает гостя длинноклювое *никогда*. А тогда, позвольте, какой он *гость*, если никогда им не будет? А бывает же он в гостях в других домах, потому и гость. Или ждут письмо, которое никогда не придет, потому что оно даже не написано. Мне приходилось ждать ненаписанное письмо или гостя, у которого вместо моего адреса – чистая страница, и ладно бы чистая, да в том и беда, что там написан другой адрес. И беда в том, что мне кажется – по написанному адресу гостя ждут чуть меньше, чем я, а там ждут не меньше. Но они дождутся, а я не дождусь.

И я уступаю дело моему герою Нупсу, а с меня довольно. Пусть ждет, а я над ним посмеюсь. Но поскольку это *другой*, а не я, он-то наверняка дождется! А мне – бесноваться от зависти и колоть исподтишка шилом чертово перепоручительство... Так и есть – через полтора месяца Нупс получит письмо. Но Нупс не имя, а обрезание, свертывание молока в сливки, означающее: Клоун Полу-Синий, но “клоун” прочитано наоборот, и тем, кто так прочитал, Нупс и кажется наоборот, трагической фигурой, а П и С я помню не точно, возможно – не Полу-Синий, а Пронзительно-Сумасшедший, или ему кажется, что он – Сине-Полый, потому что он – Полу...

или автору кажется – и так далее. Короче – суть в конверте, ожидаемом полтора месяца – не срок, а блажь. и в том, что дни имеют разную длину.

Бывают – длинные, как цирковая бочка под ногами, и вместо публики – лето в очках, а в очках – еще одно лето, и пахнет красной медуницей. даже если она – полу-золотая и полу-белая, но краски – красные, и пахнет морским побережьем – мокрые полотенца вдали на веревке очень влиятельны... И мчишься по бочке солнца, пока не сожжешь пятки – о какие длинные неуловимые дни! Какие увертливые заброшенные утром в утро а вечер и его черный хвост пропускаешь вместе с чешуей запятых... И бывают – карцер в пять шагов. в каждом шагу – мыши, запеченные в черствые горбушки, а над ними курганы из окурков, и над каждым курганом – разбитое светило, а под каждой мышью в горбушке... что тут скажешь? Здравствуй, прекрасное завтра, паутина из ноздри.

Когда по зеленой доске вечера сползает гадкое, ворсистое 8 и, увертываясь от булавы стрелки, делится пополам и лелеет талию, а Нупс следит за ним, не мигая – тогда... если тогда остаться в доме, что? Вдоль по околотку, от половинчатой двери до целого окна, от половика до непроглядной Французской Ривьеры – вкручивать разбитые лампочки и самому сиять, отлакированному стенами. Просмотреть телевизор насквозь, до соседского дивана, и допосвятить себя – благому, домашнему: укрывать чадоснами, подтыкать и под него прекрасное завтра, беседовать беседованные беседы с женой, тщательно пережевывать мирные цели, и тоже – рывком в сны, чтоб подкапывать Триумфальную Арку Бессонницы до утреннего гимна, вышлепывать змеей в

кухню, разевать на кастрюли распиленный язык, выбирать, которую уку-
сить... А ведь можно оставшийся остаток дня разогнать – золотой бочкой, золотые опилки лета веером! Поманить из гардеробчика кеглю с коньяком, двухнедельную, сопревшую, заманить на бочку, и самому – скок за ней, но о. крутись в разлив, святая водица! И Нупс еще вчера собирался, но предвидел, вдруг назавтра ему – совсем чехол, и не ошибся, а назавтра чуял – что напоследовав... а перспектива открылась. Но подкараулил его четверг, *четверг – зубами – щелк*, и зашелкнул! И что? Претвориться вермише-
лю, проскользнуть сквозь четвергов-
вы клыки – в пятницу? Там детектив на соседском диване, там кубок Европы, то ли шахматный, то ли матовый... но за кубком – кубарем – выходные! Два дня – в дому, как единственный кубок в боку Европы, как Европа на одном быку... Дом, вытягивающий из Нупса смысл сквозь соломинку, выпа-
рывающий наметку ума по белой ниточке... и надобно пережить четверг для этих радуг, но скорее – сам четверг переживет Нупса. Ведь – Нупс что, сколько в день он длился? Пять часов по карцеру, и в полпервого умирал, а обратно воскресал к рассветному гимну, выходил из Триумфальной Арки посягать нотой до, покрутить носом, а в полпервого – назад. В час, когда домой приносят почту, и могут – *письмо*, санкцию на жизнь, а могут и нет. И Нупс томился в работе до полпервого, и вдруг догадывался: почту принесли, а письмо не захватили. Если сдашься надежде, так протянешь до шести – и только в шесть умрешь. И нестись ему с работы семимильным юзом, трепетать жабрами перемен, лопаться смолистыми почками, kloкoтaть медным пищеводом и следить, кто дорогу перешел: кошка – вошка или

местком переплыл, или червь переполз, или птеродактиль перелетел – все к смерти. И взлететь к почтовым ящикам – прыгуном с шестом, на сучковатой своей надежде, и только тут, в шесть – спиной в ящик. Можно, можно, да только какой-то голос, ехидна утробная, еже-полпервого выкручивался из Нупса штопором и объявлял: капец, закрылось письмишко, как твой умишко. И хотя Нупс не до конца верил, надежду выкряхтывал – да знал: опять не врет, правдив, как пуля. И все равно бежал-летел-не-здоровался, и топтал в ярости улицу, если нет автобуса, а автобус щипал Нупса дружным, спаянным коллективом пассажиров, ставил сумки в Нупсову спину, как в багаж, душил поручнями, разминировал нос – минтаем из ста мешков. Тут и покойническое терпение взвоят уголовной сиреной! Так бежал – как ненавидел дом, куда бежал, опять явится длинный, как забой, вечер – развлекать четыре яги-стены, выступят играть Нупсом в кости, пререкать по углам, вырезать лоскуты между ребрами, выверять выигрыш по каталогу... А пуще, чем дом, чем автобус-рыбный-поручень, ненавидел Нупс Нупса – ведь знал, ведь отчеканено ему было: нет письма, зажжено вдоль конторской известки, а летел, прыгал, простирал к ящику руки... и получал газету за труды: *на, читай, начинай одно, дочитывай – другим, я твоя, командир!* Одна газета, одна, одна... и тащился к себе, а останки свои оставлял у ящиков, забывал подобрать мощи, подмести на площадке, бестелый, бесполой – и хулил полое, полое да набитое, сквозь письма не проскользнуть, с каждого в день десять писем дерут, и зарплату выплачивают письмами... Но уже примерно в два, в три ночи, кукуя в кухне над книжными листьями, Нупс

опять постепенно сползался — заводил опорно-двигательный агрегат, и пальцы резались, и нос набирал крен, и другие кое-какие детали в натуральный масштаб и похожего цвета: новый день — новая почта! И хоть ясно — и сегодня не принесут, не носят, когда так ждешь, раззявили изумление, чмокают восхищением, а обязанности по боку! Ясно... а целое утро — наслаждайся руками, ногами, все смазаны, гнутся, и отверстия отверстия, знай стриги ногти, перетирай жерновками-жабрами продукты — в дрянь, заливай в свою воронку дымный кофе — ах, охота, вдохновение! И надежду новенькую, хрустящую — и на стену, шаг назад, и в альбом, и скорее — в щель на затылке, руки прочь! Не смей!

И так он умирал — растворялся и сотворялся из растворения полтора месяца неотлучно, как от добровольной народной дружины, а тому назад и послал — свое письмо, запустил бумерангом — в непроросший из памяти город и вообще в другое число. Потому что у Нупса, так мне хочется завить сюжет, имелась тетка — фея, за три ночи от него, вот так. Родная тетя, а хоть и многожурный дядя, но иной дядя — удав. Ну, знатный деловар, глубокий проработчик, а у Нупса тетка — фея! Фея Марковна. И она, тетя Фея, выдать ей — пламенный мотор и стальные руки, обещалась — еще высевали пальмы в кадки и неисчислимую кочергу загибали по моде — родительным падежом, еще тогда — исполнить Нупсу заветное желание. Да не сейчас — не промотал бы на мяч натуральной кожи или шайбу из золота, и не в школьные годы чудесные: протряхает — на расположение флюгарки с совместной парты, на тройку за двойку — и чтоб педагогическая среда от испуга скушала друг друга, ведь изловчится, все всмятку загадает —

глаза-то бегают. Вот обернется могучим дубом, зашелестит, разбросит — тогда и будь по-твоему. И Нупс, как повелели, надулся в дуб, вылупился из средней школы, из среднего института — и вдруг думает: мне, думает, профильному древу великих равнин, безнравственно — обстригать через тетю Фею мое желание, да еще — одно, вот кабы три или семь, а тут и пачкаться не стоит. И оставшееся среднее — своим горбом! — так пиджак на нем горбом, идеалы души, жгучее чувство стыда, императивы-инфинитивы... По всем закоулкам жизненного счастья с Вергилием рука об руку, сапог об сандалию, есть у меня такой попутчик, заехал мне в ухо — и все не вытрясу.

Ну и продолжается — сам собой. Нупс Нупсом.

Например, так. Например, вы встречаете утром знакомого, с коим расстались в полночь — и вдруг обнаруживаете, что голова у него — буквально праздная борозда, а только в полночь — и колосилось, и ерепенилось. И что? Например, можно спросить:

— Ба! Ты всерьез так огорчил своих болельщиков — или пошел на погружение?

Но это те, кто прям, как линейка. А иные игриво интересуются:

— Откуда такой кучерявый, как тутошний шелкопряд?

Та же линейка, но наоборот, а наоборот линейка тоньше.

А есть еще в жизни поэты — и рвутся наложить на пустошь новую метафору:

— Это кто там яйцевидный? Кто погасил свои эмоции? Кто нам башку наизнанку вывернул — так, что все извилины разгладились?

Это если произносить, а можно и в рот набрать что-нибудь. И уж кто

взаправду тонкий, тот тактично не заметит некоторые с кем-то первобытные перемены. И заговорит — как с прежним нечесанным, будто взгляды его давно отстоялись — и от веяний момента не меняются! Только глаз — чуть стыдливо чуть в сторону, но — *чуть*, а не косить гиеной, будто задняя мысль на спине висит!

Например, однажды у Нупса была подруга, и вдруг Нупсу сообщают, что подруга на-сносях и вот-вот обрадуется обществом пополнением, а сам Нупс не замечал. И подруга ему молчок. И Нупс думает: что? Сказать, что все знает, и раскошелиться на соответствующие льготы? Но раз сама не говорит, значит — тайна, значит, не хочет, чтобы Нупс знал, значит, Нупс должен так, будто не знает, потому что — и не знал, пока незаинтересованные его не заинтересовали. И думает Нупс: а дальше что? Когда пополнение составит? И новобранца тактично не замечать, пока сама не расскажет, а вдруг до совершенноголетия не расскажет? А вдруг и после?

Ну его, Нупса — в теснине сомнений, речь-то — о лысом пакостнике, что еще вчера в полночь — лохмат, как таежный маршрут, а наутро — полная эвакуация! И если кто-то пытается сказать — при такой чьей-то незатейливости, и если слеп и нем, все — что вдоль, что поперек поверхности. А Нупс никуда не спешит и думает: какая пропасть разверзлась меж вчерашней полночью и сегодняшним утром! Сколько потрясений село на остриженного, как трагически преломилась тайна его судьбы! Какое преображение мира перелистнул Нупс с закрытыми глазами!

Вот как жил мой герой Нупс, и это достойный его пример. И однажды в городском сквере повели Нупса по аллее и привели в сказочное место:

там качели и ложки на блюде, как серебряные лодки на пруду, прыгай и плыви лодкой из пруда в море, из моря — в мировой океан, и дорожные указатели над водой висят, гаснут дневные — вспыхивают ночные, а берег пахнет красными цветами, и даже — полужолотыми, но запах — красный. И Нупс почти уплыл, но в тот день ему было некогда. А сколько потом ни вояжировал мимо сквера, и насквозь сквозь сквер и сверху — ни разу на ту аллею не попал. Чертов сквер весь, всем взводом деревьев на плацу: три шага в длину, семь в ширину, там никаких качелей, пруда-океана — там за ним дома набычились. А ведь Нупс помнит: здесь, и запах красных цветов. И помнит, кто вел — бабушка вела, и сиреневый единорог-берет, и карманы до колен: с конфетами, с яблоками... и кого встретили — соседского Вовку Дутова. А найти не может! Бабушка, я семь платьев сносил, сорок ног истоптал, где... не успел договорить, глядь — а бабушки десять лет как нет. И Вовка Дутов — невидим, как кочерга.

И вот сколько-то спустя Нупс идет откуда-то или куда-то и где-то вдруг видит: пьяный кавалер на дворе, а рядом — гуляющая красавица машина "Жигули": хорошится — то в левом осколке обзора, то в правом, то в ручьях из лопнувшей трубы... и еще кавалер, но помельче сортом. И первый пьяный — бух сандалией по струе, растоптал милашку в сырость и вопит бывшему отражению:

— И чтоб твоя сука-машина больше по жизни не ездила! — а еще кавалер, помельче сортом, тот не причем. Но первый ему покровительствует. И благосклонно интересуется: — У тебя деньги есть?

И Нупс почему-то знает, что деньги защиты в кепку, но его осеняет

другое: разбитной кавалер, победительный-безденежный, ведь он и есть Вовка Дутов! И не похож, хоть бурка на него насыдь – да вот он, поскольку друзей не выбирают. Но от того, что Нупс видел столько пьяных, что уже – двоятся, как цифра восемь, ему кажется, что он и сам – вдребезги! И не успев ничего выпросить и взять адрес, он засыпает прямо там, где шел, и там, куда. А снятся ему провидческие, пророческие сны, правда, он не помнит, что, но помнит – пророческое! И когда он просыпается, он уже чувствует, что сны утекают – остается с голыми руками, но еще не проснулся. И начинает в муках вспоминать, ладно, а сейчас – то он где? Где он спит? У бабушки в лодке, или в столовой ложке – или на триумфе симфонической музыки? И когда проснется, кем он будет? Выхлопным прокурсистом Вовкой Дутовым – или прорабом искусств со стеклянным глазом? Или падшей крепостью Измаил?

И, дрожа от страха, Нупс заглядывает в щель между снами и видит презнакомые обои в финский цветок, семь с полтинником за клубок. И оказывается: посередине жизни – вот где проснулся, на мужской половине, а в другой комнате жена кроит платье, а бабушка – за бегущей водой, между Нупсом и бабушкой – волны финских обоев, а вундеркиндер положен на музыку – и в звучащей школе. И кстати, тут Нупс обнаруживает, что он полу-синий, но сгоряча не обращает внимания.

А за окнами сумрак, но будто уже светает и к дому прибило утро. И Нупс рад, что слава Богу, так скоро ночь минула, и размечает дела, туда сходить, это принести, а то пронести под плащом. И протягивает руку за часами – нет часов! Неужто экспроприировали, пока просматривал пророчес-

кие сны?! Но тут Нупс слышит свой хренометр – уже прикручен, влит в руку намертво – серебряной лужей-непроливашкой. Смотрит в лужу, а там – сегодняшний вечер, скоро восемь. То есть за окнами не светает, а темнеет. И дела, отосланные в завтра, можно вернуть в сегодня. Но если отозвать, если вынуть их из завтра, то в завтра образуются такие бреши, что завтра рухнет. И погребет Нупса под завалом – и не спасут. И тут Нупс покрывается от пяты до треска в затылке – *тицетой*, бородавчатым ознобом, сыпью, стружкой, оплесками, но Нупс знает: *тицета...* И дела его завтрашние-сегодняшние – ни самому, ни бабушке, ни скачущим сквозь небо всадникам, простым и почтовым, кстати о... Но расставить бы дела пошире, загородить полорогую пустоту, перспективу упечь, а из перспективы бабушка машет сиреневым беретом и коржик протягивает. Время – то круглое – от бабушки ушел и к бабушке пришел. А Нупс вредничает, косится на коржик и стаскивает вразнотык – грудуду дел, суматоху явлений, и жену приставил – плечи ей пошире подбил, мечты развесил, финские обои, грамоты, горчичники... а никак, никак от коржика не спрячется. Врет, что сладкое не любит.

И заплакал Нупс в половине восьмого финских обоев – пред чертой, где ворсистому *восемь* делиться, окольцовывать день – пускать на размножение... зарыдал, такой шлюз распустил, что жена прибежала с недокрытым платьем, но она кажется Нупсу узкой, тьфу, что за уза, и шкаф навис, мумукает дверцами, цыкает выбитыми замочными лузами, и четыре шмары-стены, и чья-то амурная виола – расплескала струны по всем ветрам... столпились вокруг и не пересекают, зато утешают и утирают, при-

струняют и растирают, а главное не то, чтоб мы тебя понимали, а что у нас добрейшее сердце. А жена — полуплатье подмышкой — раздувает реторты, гонит змеевиками лекарство пустырник от пустоты. Но утешили или нет, я не помню.

Но пока все растерялись, Нупс вдруг — скок на бочку и наутек! Крутись вперед, моя затейница! А почему — на бочку, а не на поезд? А не все ли равно, если время такое же круглое, как пространство? А может, в поезде воздух комковат — и проводник сумасбродничает. А может, не боится и думает — заскочил на поезд, но промахнулся — и на бочке. Эх вы, да бочка-то и есть единственное спасение! Бежишь-бежишь, а никуда не прибежишь, ни к концу, ни к началу, где конец начинается. Только бы никто не прознал, что я на бочке, только бы не... И качается с работы на работу, из ужина в ужин — как лебедь цвета опустошения, мускулистая горловина, крылья блинчиком... а на самом деле — по бочке вдаль, от всего отдергивая пальцы, чтобы все не прилипло, нечего на бочку наматывать, раздувать тщету болотным сапогом. И от спешки — спешно прочь! Ведь если к цели не рваться — цели не бояться, не уставишься в нее — и увидишь: не в конце, а здесь, и вокруг и дальше, а где конец — неизвестно, потому что — где он? И не надо делать так, как надо, потому что так уже сделано.

Вот как думает Нупс Полу-Синий, убегая по золотой бочке все шире и выше, отклоняя виселицы вопросника, а тех, кто отвечает, остановят раньше.

И вдруг думает: а вдруг прознают, протянут руки и украдут? В момент укатят! А не прознают — но рассыдется, распадется на досочки, а доски

расползутся по юным техникам? А вдруг — бобр себе в ней зубы выточит, и потянутся за ним прочие косточки? А вдруг — золотой ничего, а меня за нее страх съест, а наперед то, что мне откроется, съест? А вдруг... в общем, куда ни кинь, кругом холера. И Нупс мчит по бочке чуть живой, мокрый, как приживальщик, ногу подволакивает... то есть и заскочить не успел, не успел мысль по просторам разметать, а тут его уже и прищучило. Да как так скоро? Что за скверный анекдот? Разве так бывает? А вот на, подавись тем, чего не бывает! И уже четверг-вдали встрепенул-ся, стряхнул с шерсти звон, потянулся, разминается, желудок развязывает. Ах, какая нелепость, тьфу.

И тут вдруг — ну, наконец-то! — Нупс вспоминает о тетке, о тетечке Феечке, шоколадка вы моя, рыбонька заливная, а кто нам что-то обещал? Есть у меня желание, растако-о-е... Ну, конечно, непрактичное — в точке вашей отрадной практики, да ваша точка уже поставлена. И конечно — задаром, за труху — безнравственно. А не исполнять обещания — сколько?

И пишет письмо. Прирасти к листу, проклятое, ведь если б не анекдот, руку отруби — не возжелал бы, но ведь анекдот! В автобус вступить стыдно!

Но дело в том, что почему-то как Нупс тетку ни поздравлял, с днем ангела, с международным днем кооперации, с иными наслоениями, от тетки три года — ни благодарственного гугу, ни обеденной ручки. А ей восемьдесят три года было три года назад, но Нупс понимает, ведь время ходит и тетке некогда, доктора-бакалавры, бакалеи — приступом, за пенсию расписывайся, и вдруг укатила в Киев — что не укатить? — и поздравляют не

за ручку, а на голубом глазу. И у тетки в подъезде, Нупс помнит, кто-то такая сволочь, что потрошит чужие ящики – в свой без запинки, и ясно, Нупсовы открытки выпущены. Ведь случись факт – Нупсу сообщат, неужто не прознают, что у тетки затеряна на равнинах племянник? На то и соседи, чтобы все знать. Поэтому она и тетка, что есть племянник.

И сочиняет три недели – и тетке засвидетельствовать, и свое – в белой слезе с мускатным орехом, слюварь литературного слога, двухтомник синонимов... перемарывает на белом, под копирку, чтобы отослав, чтобы копию теткинским глазом пересматривать. Но как послать, чтоб уже не вытащили, лично в необведенную ручку? И озаряется: не в подъезд, а на главпочтамт! До востребования, там соседское требование пресекут! И позвонить и нацелить. Но с работы нельзя – не потому, что за счет казны, а жизнь на работе эквивалентна килограммам тротила – и телефон изрыгает одни проклятия. И Нупс, чтоб наверняка повезло, откладывает пятнадцатки, и только за те года, где хорошо дышалось. Например, за восемьдесят четвертый нельзя, там аппендикс выпололи – убыток. А в восемьдесят пятом статью зарезали, а проблему умыкнули, а в девятом – так считали в ресторане, что нуль обручальным кольцом дорисовали. А в... и идет в автомат с двумя счастливыми пятнадцатками, раз такой злопамятный, как полу-синий. А как не быть, если в семьдесят восьмом пятно спустилось на штаны – на вечное присутствие, а Нупса из штанов выдавило. И звонит – тоже не из крайней кабины, нашли дурака, крайняя-то – шестьсот шестьдесят шестая! А везучая занята, мамочки, и здесь террор – все свободны, а эта занята. Но Нупс персонаж суровый –

что ему, что говорящий мужик смотрит оттуда как на врага народа? Тпру, трепанг зашмыганный, меня пятно выжило, и я тебя выживу!

В общем, звонит. Стт-пр-раа-ашно, а звонит. И вот – чудо! Баловень же Нупс, не то что я! – трубку снимают и откликаются. Шипение откликается, да неважно кто, а важно успеть на два пятнадцатика. Тетечка, атас, это я, любимый племянник, и послал вам на главпочтамт, потому что помню – воруют, до востребования, кулаком по столу – и до кровинки, а тут ему совесть жмет: и о здоровье, мерзавец, не справился! Как вы себя чувствуете? Пенсии на лекарства хватает? Нынче деконт вздорожал, геронтология – в заднице, нет, так они заботятся о народонаселении, а мясо есть? У нас –дважды к празднику: первого мая талон и седьмого, с праздником, тетечка! – и на этом месте закатывается второй счастливый пятнадцатик. Но Нупс надеется – тетка проникла, ведь сняла же трубку! Кто-то снял, кто-то слушал! Чье-то ухо полнилось!

Мечет в даль письмо и две недели спокоен, еще не получила. Но к концу второй недели уже подбирается к ящику с надеждой, но еще – птенчик-дай-червячок. Хотя на третьей неделе тоже нет ответа. Но ясно, тетке некогда. А на четвертой неделе Нупс просыпается вдруг каким-то гусеобразным. Вдруг перечитывает копию первой фразы и вдруг соображает, что первая могла показаться тетке неподходящей, не фраза – змея! Совсем из ума вон, дурак, выписал тетке затмение – собственным перышком! А жена видит – Нупса кто-то гложет, но не знает, что гложет – первая, потому что не знает про письмо. А Нупс говорит – шефа заслушивал, и противоборствующая сторона, остано-

вив глаза, три часа повторяла: *Я падаю, падаю! Приготовьте мне полосу безумия...* Видали? Приготовьте ему шесть полос – и венок распустившихся фуфлоксов... И не знает, ждать теперь или нет ответа, но ответа нет.

Тут и приходят черные дни к Полу-Синему Нупсу и выпускают его до полпервого, когда приносят почту – почту! – в полпервого! – обязаную к завтраку: чтобы Нупс завтракал, хрустя газетой, черный кофе с хрустящей газетой – под двустоволкой цифры восемь, а кофе?? – ни черного, ни сиротских оттенков, разве тот – с килькой в прикупе, сгущенный рот, от сладости не расклеишь – и безмолвствуешь на народе... и тащат в полпервого за веревку назад... нет ответа! Бродит-бродит Нупс на работу, с работы, из дома, домой, а бочка спрятана. Где спрятана, там и спрятана, золотая моя, кап маслом, цирк цветочкой, кок ноготком... и вдруг: а седьмая-то фраза! Не седьмая – махровая химикалия! Молился ли ты на ночь, Полу-Синий? – и еще семь мук, пока восьмую не... восьму-у-у... сразу две петли для надежности!

Но еще страх и ужас... петля и яма... хоть Нупс и не признается, и не признаваясь, считает: пятого звонил, шестого послал, ну – неделя на вечный ход теткойной ноги в провиантские склады, здравоохранение... значит, числа двенадцатого. Если в Киев не приспичит. А вдруг решит – обернется до письма? В общем – в двадцатых числах. Двадцать второго бывший дядя родился, зря родился, все равно выродился, а тетка противоречит – и во всех годах метит зряшний день особым гужоном: хоть из Планерского, хоть из Лапландии, а из Киева и подавно. И букет сантиментов, и дядю – к букету, накость, пуся

деньрожденец, я чокнусь с вашим бывшим неудачным здоровьицем! Двадцать первого – из Киева, двадцать второго не до Нупса, до дяди, двадцать третье плюс праздничные постскрипты, амортизация печени... а двадцать восьмью... двадцать девятого – уж зачет послание. Но уж первого – второго – точно. И неделя на обратное сочинение, и неделя на ридикюль – сам неделями таскает, а десятого – пятнадцатого отправит. Если восьмьючей фразой не обвосьмучится. И посулам-руководствам – еще неделя: на какой ост-вест Нупсу обернуться, через чье плечо чихнуть, куда закопать... И в чем не признается считает, то есть, если не востребуют – а мольбу его месяцем вырежут – серпом по... двенадцатого туда, двенадцатого обратно. Ну, учитывая нерасторпность почтовую – тоже отсосать квитанции, а через неделю спохватятся: Нупсово письмо в обстановке их трудового подъема – лишнее, как в Швейцарском банке... В Швейцарском банке – совсем как у нас. Вымажут истекшей невяжкой, адрес – крест-накрест. Ну-ка сядь назад! И обратно неделя... Нупс так и видит, так и воем на рогатину, всесветно крестом перечеркнут! Неделя, десять, а местная почта тоже не сразу, какая это – сразу, чуть прилетело? Еще три дня... значит, двадцать четвертое! И нашарит двадцать четвертого в ящике крест.

И ждет двадцать четвертое, как лаву цемента, оползни брусков, железный поток! А если не двадцать четвертого – двадцать четвертое крайнее! – ну, считай, победу зацепил, в жилу вышел! И несет домой полполучки – бутылку, плескучей единицей, загружает в гардеробчик, а жена отвлеклась от недокроенного платья и говорит:

– Ага. Нобелевку дали? Звезды нам к месту. Мне как раз Белоедов нужен...

– и спрашивает: – Навестим Белоедова?

– Всепогодного афериста Белоедова? – уточняет Нупс. И спрашивает:

– А зачем нужен?

– Нужен.

– А зачем?

– Нужен.

– Нужник какой! – и спрашивает:

– А как ты ему при мне молвишь, за чем?

– Я его в ванную оттесню. Как ты – счастливых избранных.

– А ты видела, какое у него лицо?

– спрашивает Нупс.

– Какое?

– Нет, ты видела?

– Я с ним обычно в темной-темной комнате беседую.

– Не видела! – говорит Нупс. – Такое не видят. Когда меня спросят, как я представляю диавола – в человеке, я скажу: как Белоедов. Он все может, все!

– Потому он мне и нужен.

– А я не Белоедову коньяк катил, мне тоже нужно – да цели мои чисты и путь к ним свят.

И заворачивает кавалерийский наскок – кого-то со службы сократили, а жена из квартиры сократила, а дорогу бурьяном засеяла, перебрался в трущобы, а там – пожар, в общем, только Нупс ему и наплешет. И дальше дрожит, как топот копыт, коченеет кочаном на стерне, на стержне каленого ожидания, и откуда в тетке столько черствости, как в горной выработке? Знала бы, как Нупс ждет, с какого холмика писал, на лопате листочки свои пристроил, листочки с копиркой в промежутке, откуда??

А тут наступает двадцать четвертое. А послал шестого, но не этого, а прежнего, но если не востребовано – вернуть сегодня. И в полпервого, как положено, голос шепчет: нет письма.

И Нупс опять примеряет ипохондрию, камнем – на дно внутреннего мира, шарит там и взвешивает злокачественную кочергу... И вдрууг: да ведь двадцать четвертое! Да ведь если нет – ведь у тетки! Здравствуй, жизнь моя в жирных пятнах, на бочку нагвазданная. Если ящик – без креста, крест без ящика... Ну, здравствуй, носовитый! – кричит ему ящик и летит навстречу крылатой ракетой “Томагавк”. А Нупс рраз! – и на ступеньку у подъезда, и глаза за пазуху, ссттраашинноо! Вдруг – есть? Сидит-заседает и думает: ведь соседи думают – и чего думает, крест свой дальше и выше не тащит, подъезд загромоздил? Помощника ждет? Нам намеки не нужны. Ап – и идет. Запускает руку в ящик, а глаза за пазухой. И нащупывает газету. Вынимает один глаз – газета! Вынимает все глаза, разворачивает, трясет между строк – нет письма! – одни партийные рекомендации. И даже тошнит, что нет, что у тетки, тетечка-мотечка-феечка пущырчатая... Карауул! Спасение!

Но коньяк Нупс сегодня не пьет, а то – нате вам письмишко на опохмелочку, пожуйте, пока другой не занюхал. А жена отвлеклась от платья и желает оспорить почетный приз: не идешь на свой коньячник-компостник? Нет, гашение конюшен на два дня отложено. А тогда не дойти ли до Белоедова? Не дойти, у меня синий бок колет. А Белоедов... этот прибор ночного видения...

И ходит он два дня Полу-Счастливым и еще не верит, что – Полу-Спасенный. Но все отъявленной – к ящику, все циничнее – руку в щель, а умирает все меньше, и все больше – Полу-Смертью. И на пятый день – обхватило! Обтекло, обтыкало! Донеслось до теткинго сведения, теткинго сведение в курсе!

И в таком счастье растрепанном – растрепанном – уже совсем безрас- судно – к ящику. И уж подлинным головорезом – внутрь... *и нащупывает конверт*. И хохочет: неужто? – и пры- гает: и допрыгнуть не успел, а вам – ответ! И, хохоча, достает... И видит: *крест*. Собственным домом подпер, собственной улицей к нему привязал- ся! А с изнанки печать: за выходом твоего срока... затем, что кроме тебя никто его не востребовал, неси его скорей на... на нечленораздельное.

И Нупс несет и все хохочет от удо- воствия, ведь надо же, а? – и не прыгнул, едва разбежался – и уже! – комедия проклятой фините: принеслась на тачанке диктатура свободы! А от чего у тебя свобода, ласковый? – выскрипывают ему перила на третьем этаже. И Нупс щекочет их мизинцем: от вас, костлявые, от вашей белой кости. Заходит домой, стоит посреди комнаты и не может вспомнить, что он делает, когда приходит. То есть теперь ему – что? Начертать вдоль белофинских обоев: “С Новым годом”? Или двери всем ночным путникам от- ворить? Или с понтом вымыть руки? Хоть убей... А недорезанное платье прикусило рукав и не подсказывает.

И стоит он так – в поиске полити- ческой ориентации, и вдруг чувствует – по спине кто-то ползет. И по плечу. Нупс вывернулся и видит: конверт по нему ползет, усами шевелит, и у кон- верта заячья губа. А у другого конвер- та – волчья пасть. Нупс – на пол, ка- тается, сбивает с себя конверты, а те со спины на грудь перескакивают, в волосах запутались. И бежит по Нуп- су ужас, как по торфянику, пышет белым и синим... и от ужаса Нупс дога- дывается: под шкаф! Скорей! Где шкаф? А шкаф отсучил от себя тень и сутяжничает с ней за место, чтоб не скучать, и совсем ему не до Нупса. И

ты, Брут? Подлая душонка... всех уво- лю! Выдам конверты с фигой... – и тут, о счастье, о экономия – Нупса вык- лучают из розетки. Но вот – тьфу. Не удалось мне закрыть розетку спиной, стереть со стены, поздно! Опять вклю- чают! Видит Нупс – расстелен он на полу, покрыт тенью от шкафа, кара- ковой коростой – и чрезвычайно сму- щается, потому что данность у него – заваливающая, бесхарактерность, чмо... И он незаметно для жителей земли поднимается, незаметно вспарывает шкаф, незаметно прихватывает плес- кучую штуку и незаметно бежит. Да, а дело-то – в четверг, потому так и назван рассказ: в четверг Нупс вос- кресает из ожидания. И видит белые прямоугольники под ногами – вот они, указатели из пруда в океан! Вот, что открылось ему в страду страданий: ревуший катарсис! И Нупс решает бе- жать к мировому океану. Но что-то зашкаливает в четверге, какую-то технику, вечно что ни возьми – не- вечно. И купол четверга как пристег- нут к небу, так и коробится, а стены вдруг оседают сдутой падалью. И бед- ный Нупс – тьфу ты, какой воруй-го- родок, – он вдруг незаметно стано- вится заметным, заметно идущим в океан по белым прямоугольникам про- езжей части. И низкий пасмурный оче- видец – тут как тут, в белой перчат- ке под козырек с черной искрой. И пользуясь обойденным теткой пись- мом, запрашивает в перчатку аж три рубля, пока я не намекнул на черво- нец, а я вот-вот... ну никак мне не уда- ется вызволить Нупса! Приходится выпускать из него три – со слезой по кремлевской башне, переводить в не- проезжую часть, в непролазную сте- зю... И Нупс думает: я куда-то шел? Неужели на распродажу последнего имущества? Зато не к Белоедову! – так он надеется, а куда? На кусок

бесед, на совок языка, наша сосущая открытость для диалога... Ведь не умолчит про письмо, после пол-сосуда выложит! Будет клянчить утешения: а вдруг не на ту букву воткнули? Ничего не путали, а этот контрольный экземпляр – на! А вдруг тетка не в Киеве, а в больнице месяц раздавила, в полу-санатории? В Обществе лишенцев поджелудочной железы? Раз ей восемьдесят три года три года назад назначили! А поскольку Нупса пасет пиковый туз, как участковый, тут-то тетка и обособилась. Да может, не тетка к телефону подрулила? Завелся у нее, например, ферзь, дядин сменщик? Если ей так запросто в Киев всколыхнуться, так еще – лягушка-царевна! И в эту пору варила флотский борщ и не могла – к телефону, вот ферзь и снял. Но тут вдруг кухня зашипела, вспенилась – и весь флотский борщ из берегов! И он бегом – спасать, дезактивировать – борщ от плиты, плиту – от тетки. Ну и, ясно, забыл сообщение. Да потому в телефоне и шипело! – флотский борщ, осиное гнездо! Ааа, вот к кому шел – к Кутейкину! Кутейкин на флоте служил.

И приходит к Кутейкину. Открывает Кутейкин исподлобья.

– Что, не клюет? – спрашивает Нупс.

– Клюет. Покоцанный петух, – вычленяет Кутейкин. – Зубы жмут. В субботу на даче так прищемило – чуть не самоликвидировался! Хотел завещание накатать, надо же отлепить тельняшку родным и близким, не то в ней и спишут, во фрак не застегнут. Тянусь из последних сил к бумаге, а тут вихрь – и отдувает! И бумагу, и боль, и последний час...

А из кухни – смех.

– А там кто весел? – спрашивает Нупс.

– А там Люли. Следуй в караване, я тебя представлю.

И ведет Нупса на кухонный свет, и ясно: увез жену с младенцами в природу и не скучает флотской натурой. И неизвестная Люли с зеленой прядью – в зазеленевшем углу кутейкинской кухни.

– Я не вовремя? – окисляется Нупс.

– Вовремя, вовремя. Мы духовным богатством делимся, возьмем тебя в долгу. У меня же зззубы! Я сварил себе манную кашу, ем и рыдаю. А тут она путешествует мимо окна, увидела, пожалела и говорит: “Давай, я тебя в ресторан “Океан” отведу...”

Мимо, да, а кутейкинское окно в девятом этаже.

– А почему ее Люли зовут? – спрашивает Нупс.

– А какая тебе разница? Может, она французские оперы пишет. Не успел войти – сто вопросов. Ты что, из Клуба знатоков? На-ка портвешок и сразу все о жизни поймешь.

И достает Кутейкин махровый портвейн за номером 777, но на нем напечатано “Океан”, а Нупс – коньяк, но тот номер счастливее, и велит себе портвейну, раз он – океан, а Нупс и шел в океан. А Кутейкин – из духовки: гля, какое бя... какое блюдо уродилось! – да откуда теперь океанское счастье у Нупса – экс-мечтателя экс-золотой незаактивированной бочки? Разве блюдом зажевать, полегчает? И слышит, как вдали, может быть, под римским патрицием, поскрипывает чужая золотая бочка, может быть, под грузом нерешенных проблем... И слышит шаги на лестнице, поползни по ступенькам – поступь потусторонняя. А Кутейкин не слышит, богатство Люли перебирает, а Люли не отдает, мелочь подсовывает, а за ценности Кутейкина – по рукам. И в ответ свою

биографию вышивает – когда в комсомол, которой грудью ребенка вскормила, а Кутейкин не верит – покажи! И уже у дверей, такие шаги, что опять на Нупсе конверт уськает своей заячьей... ах, чтоб ему заживо оскудеть!

И тут в двери – звон, все тарелки встрепенулись, заметался в чашках лязг и стены взопрели, засучили сочленениями, спустили по трубам бесповоротный вой... услышал Кутейкин! Идет и возвращается... с Белоедовым! Он, он! Директор Дома юных пионеров. Но что-то в нем – впроброс, какая-то трансцендентная оплошность... и вдруг Нупса осеняет: остригся! То есть чудовищно остригся – по-пустынному!

– Глянь, какой рулевой, а? – хочется Кутейкин. – Какой штурвальный!

– И откуда такая гибель локонов? – оторопев, Нупс – о количестве то ли отсутствия, то ли – существования.

– Он что, и не пьет, не курит, не маньячит? – спрашивает Люли.

А тут Белоедов открывает пиджак и выкладывает ствол водки.

– Что-то мне мешает, – бормочет Нупс, изучая Белоедова. – Что-то на тебе лишнее... Ага! – и торжествует. – Ага! Брови! Весь – яйцом, и на – брови!

– Ну подумай, – плещет Кутейкин, – ведь вчера его из автобуса видел, он с пионеркой гулял, в прическе до пят, а нам даже чубчик не выказал. Ах, чукча, чукча кучерявый... Вчера, сладенький ты мой. Знакомься, Люли, настоятель Дома пионеров. Но смотрит зверем.

– Брось, киса, это я прежде со слезами на глазах работал. А теперь всех бы передавил.

– Слушай, возьми меня к себе! – кричит Кутейкин. – Нупс говорит,

коммунары его ухрюкали, а я отмщу: лишу их – крупного спеца. Возьми, а? Есть у тебя место?

– Есть у меня место, – говорит Белоедов. – Преподавателя бальных танцев. Пойдешь?

– Мне бы в театр теней, – вздыхает Кутейкин. – Хочу режиссером на театр теней!

И теребят блюдо и дискутируют. И чувствует Нупс, прямо в нем бочка скрипит, золотыми досочками квивается, и все связано с приходом Белоедова, и микрорельеф – и макро... черт знает как, но все связано! И отвратительно, что связано, но. – вкруговую! И странно, что Белоедов вдруг лыс, да вот так. А несчастье будто бы в том, что кончились огурцы, разом – и на столе, и в холодильнике, и в зоне рискованного земледелия. Ушли и хвостом замели.

– Ты, владетель дачи, не мог огурцы навставлять?

– Ну, комрад, ты кем меня на даче держишь? Огурцы-то не из нашей дачи, а из нашего гастронома. На даче огурцы посеяны чисто символически.

– И что там восходит, если не огурцы?

– Кру-жев-ник, – неуверенно говорит Кутейкин. – Кружевник. И нематериальные активы. А также сняли урожай гороха.

– И насыпь стаканчик на коньячок.

– Ты, комрад, на весь мой урожай замахнулся. Дача, подача... да ихняя дача рухнет через год, только видели!

– А ты подопри атлантом и играй мускулами.

– Зато у нас четыре за переэкзаменовку, мы передиктант перекатали! – хвалится Кутейкин. – Не только горшки в третий день выливаем.

– Вышло жизненное обеспечение, аут... – вдруг объявляет Нупс. – Хоть на коленях молитесь, хоть взятку всучите, нет – и точка.

– Точка, бочка. Да ты хоть знаешь истинное страдание? Вот принеси гитару, пошарь в столовой под раскладушкой, Люли тебе отпоет.

А Белоедов посмеивается, тоже блюдо потихоньку отламывает, а усмешка у него – ну чистый конверт!

А Кутейкин говорит кому-то в окно, опять у него кто-то в окне:

– Зайди, откачни рюмочку. У тебя сразу кредо изменится. Да я не праздную, у меня цинга. Цинга кругом рыщет...

Но никто не приходит. И уже гитара, и Люли, выстроив Белоедову око, раскрывает вокал – должно, из французской оперы:

– А между тиною, тиной зеленою девичье тело плывет...

– Слышал? Слышал истинное?

– Ладно, – говорит Белоедов. – Возьму рисовальщиком. Наш больно много закладывает – прямую линию партии провести не в силах. Вообще-то – мил, и стажист, а среди рисовальщиков даже слывет. Да из-за него инспектора ходят, нюхают нас, как кобелей. Из-за него уж и не заложи.

А Люли рвет поющие струны зазеленевшими пальцами.

– Тело плывет, между камней толкается, мертвые смотрят глаза. Платье девчонки о камни цепляется, ветви вплелись в волосы...

И вдруг Нупс вспоминает, что у жены не совсем скроено платье. И думает: а может, Люли – фантом? Химера с Нотр-Дама или с Дома пионеров? Ведь он ее никогда не видел – значит, ее и нет? Глядь: а на портвейне – не 777, а 666!

– А я тебя с пионеркой накрыл! Валя, Валентина... – кричит Кутейкин Белоедову. – Проезжая мимо станции. Бюст пионерский – экстра! Но бедро широко.

– Ну, – спрашивает Нупс Белоедов, – куда запропал, трепетный друг Горацио? Где месяц промышлял? Видно, думаю, недосыгаемо живет.

– Ты! Ты! – говорит Нупс и глотает воздух бочками. И скорей запишет, чтоб проскочило.

– Хотите сказать или просто отреагировать? – интересуется Белоедов.

– Ты! – говорит Нупс. И переводит дыхание на три бочки назад. – Подобрал бы ты когти и не шалил. И сопроводил бы меня в гигиенический бокс.

И идут, здравствуй, ванна, полубелым телом окрысившаяся, здравствуй, дорожный знак *Стоянка стиральных машин*, и застоявшаяся в тазу зеркальная гладь в цветении Лотоса. О заклейте, заклейте мне рот конвертом! И сидят на белом боку, нога на ногу.

– На – грудь, порывай на моей груди, а я тебя пожалею и спасу, – говорит Белоедов. – Или не смогу?

– Кто не знает, что ты на все мастер. Наш искусственник!

– Укатал и вымолил, юноша. Повествуй.

И Нупс ниже ему рвы со львами и океанскую изворотливость вод – полу-смерти в полпервого – и вразброс, и в сложных погодных условиях. Выгоняет на трассу – Каркучий Икарус, племя зафаканных катафалков – с облавой на каждой остановке, с поминаниями на поминутных светофорах... Но не хватает – фактурного кругляка, достоверного шара – достать Белоедова! И пускает в двери и в окна – контактеров с минтаем, язву в нос... А про бочку – ни-ни: ни гвоздочка, ни опилочки! Ибо ныне счастье имеет вид конверта от тети Ханы, то есть – тьфу... – от тети Феи.

— Разве я захребетник? Клянчу кафедру и клубящийся кафедральный мрак? Материальные компенсации за моральный шмон? Мне бы — надежду!

— Ты убиваешь себя, — говорит Белоедов.

— Чем?

— Тем, что живешь... — и начинает хохотать, ах, милый ты мой, да тетка твоя назад три года поди перешла в криминальный мир... Ну — в иной, в иной, вырви грешный мой язык, милый язвенник. Язвит тебя, многого...

И Нупс нависает над Белоедовым стиральной доской, выжимкой кислых линий, еще раз, Белоедов, молвишь *милый*, и плевать, что пионеркам без тебя — труба, светлый горн твоим пионеркам...

— Ладно, ладно. Но задаром-то не спасу, задаром одни дела шьют, и то я не верю, — говорит Белоедов. — А надежда самого дорогого стоит. Вот отдай самое дорогое, а я тебе — надежду.

— Жену, квартиру? Социальную роль?

— Ну, милый, моя социальная роль с твоей — как кардан с пальцем, — говорит Белоедов. — И мышеловка, которой снятся телефоны... так пусть твоя жена уже выкроит платье, а то — ню да ню... Вот ты, — говорит Белоедов, — Полу-Синий, да? Можно, конечно, счесть тебя Полу-Снежным, но ближе к Полу-Синему. И хочешь при том надежду?

— На цельное платье, — говорит Нупс, запускает краба в стоячее изображение — нет ли в водоросли Лотос острых предметов.

— Так отдай за надежду — белую половину!

— Ты что, Белоедов? Креста на тебе...

— Зато на твоём письме — крест. Есть крест на письме? — спрашивает Белоедов. — И живи себе с крестом. Не все равно — с надеждой, с крестом... с мурлеткой, с агнцем...

— А отдам? Есть надежда, когда есть надежда... но зачем Паскудно-Синему надежда?

— Э-э, милый. Ведь есть надежда, что станешь Полу-Снежным. А уж там и карты в руки.

— А зачем тебе моя белая половина?

— Чтоб задарить тебя надеждой, — говорит Белоедов.

— Ну — твоя! — говорит Нупс. — И отныне ни в чем себе не отказывай. Не идти ж без лавандера — на двор, где пиковый туз ждет — дружить, крест подтягивает, и гони ему ланиты — целоваться... синие, как бриз у берегов Абиссинии... а от страха за страшное решение — и еще синюшнее.

— Развязно декламируешь, как бы не надул! — говорит Белоедов. — Ну-с, зачту тебе Книгу Судеб.

И берет со стиральной машины претолстый-прерастрепанный том и листаает, и на голове у него — нуль горит. А Нупс затаил синее дыхание, но вдруг думает: ведь том лежал, еще я Полу-Синий был! Как вошли, на стиральной кутейкинской машине, ну что, если у Кутейкина одна стиральная, зато воды мутузит-перепахивает, и в волне что-нибудь ныряет и бесится, в общем — родня морской душе, и куда Кутейкину ехать — разве к теще на разрушение дачи, а том сразу лежал! И Белоедов, найдя страницу, сначала — про себя, а затем вслух.

— Вот неприятность: неправильно набран номер! — читает Белоедов. — Но звезды не настаивают — и предлагают альтернативный пример: в последний раз вы набирали сей номер,

если не ошибаюсь, в детстве? А с тех пор мелькнула целая жизнь... и кто цвел – отпал от курчавой волны. Возможно, это произошло в одночасье... в одну ночь некто Полу-Синий – заспал старый мир! А вот станешь Полу-Снежным...

– И есть надежда?

– Есть, милый, как ни плюнь – все в бордюр.

А Нупс хрустит и трещит от хохота, пришепetyвает и брызжет, тьфу, профильное дерево...

И вытаскивает объятие с лобзанием, свои холодающие примочки, раздарю Белоедову с Книгой Судеб пополам, построчно и поперечно – с чего начать? И видит: слева – продольный столбец, а справа – тоже продольный, но цифры. И качается над ванной – над всей раззявленной ледниковой пастью, видал, а? Видал, нюся, Книгу Судеб? И кричит:

– Стоп, Белоедов! Шаг в сторону – геенна... – и взбивает лобзание – в клык. – Это же справочник! Телефонный справочник читаешь! – ах, отчаяннейшее отчаяние, чайник слёз на жасмине – чаша не минет... опять тупик – Туз Пик трещит крестцом, копает на дворе пустоту, пусть наступит кто-нибудь в темноте...

– Ты что, милый? – удивляется Белоедов. – Не все равно, с чего судь-

бу считать, коли она – судьба и уйдешь от нее недалеко? Хоть по копченой кастрюле читай, хоть по девственному Дому пионеров – судьба и есть судьба.

– Хм... Резонно, старый волосун! – хохочет Нупс. – Ну, пойдем, и во здравие твое – зелье...

А дальше веселья еще, и часу в третьем прощаются, рукоплескания разные, ослиное ухо месяца... и Нупс, усадив Белоедова в такси, идет в свою тьму с тараканью. И посмеивается. Ну что ж, что синий, как куча помета? Да есть надежда, что станет Полу-Снежным. И тетке при случае отзовнит, непременно! Когда-нибудь. И тетка пришлет конверт.

А бочка где?

Какая?

А-а, золотая. Чтоб хоть бочку не прочитали – Нупс ее съел. Съел – и забыл. Мало ли, кто что съел, так все и помнить – от первого молочного завтрака до прощальных тушеных мозгов в сухарях? И поет в пути, и играет на струнах эоловой арфы... И вдруг думает: а Белоедов-то – лысый! Вчера еще – в шерсти, а сегодня – огненный круг! А почему? Что с ним, с Белоедовым, вчерашней ночью произошло? И не спросил! Ну и ладно, хочешь быть лысым – будь им, и наплевать на тебя.

